

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБЩЕСТВО

*И.М. САВЕЛЬЕВА,
А.В. ПОЛЕТАЕВ*

Историческая наука и ожидания общества

История занимает особое место среди социально-гуманитарных дисциплин. Прежде всего это связано с тем, что, наряду с философией, история является системообразующей дисциплиной гуманитарного знания. В самом общем виде можно сказать, что знания о прошлом обеспечивают трансляцию моральных и идейных ценностей, а также ориентацию в историческом времени и социальном пространстве. Исторический опыт востребован в социальной практике, в деятельности политических и общественных институтов по формированию ценностных приоритетов общества. Кроме того, в представлениях политических и интеллектуальных элит история по-прежнему наделяется важной консолидирующей ролью.

Общественность и власть заинтересованы в трансляции исторических знаний на массовый уровень с целью реализации социальных функций истории и предъявляют не просто спрос на историческое знание, а определенный запрос на его содержание и аксиологическую окраску. Представители исторической науки заинтересованы прежде всего в производстве научного знания, но тем не менее в той или иной мере на этот запрос извне должны реагировать.

В последние 30 лет историки столкнулись с целым рядом новых внешних вызовов. Общественный интерес к проблемам исторического сознания, “исторической памяти”, “народной истории” вовлек в зону дискуссии и представителей иных социальных наук, и философов, и профессионалов, ранее далеких от проблем историописания: производителей медийного знания, чиновников государственных структур, участников разных групп гражданского общества. Возникает вопрос: каково воздействие современного общества на содержание научного исторического знания? Чтобы ответить на него, обозначим внешние вызовы, обращенные к историкам в последние десятилетия прошлого века (см. также [Бойцов, 2006]), и проанализируем последствия, которые они имели для исторической науки.

Савельева Ирина Максимовна – доктор исторических наук, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного университета – Высшей школы экономики.

Поletaев Андрей Владимирович – доктор экономических наук, заместитель директора Института гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного университета – Высшей школы экономики.

Общественные вызовы

Разнообразные вызовы, брошенные представителям исторического цеха, можно рассмотреть применительно к разным значениям понятия “история”. Напомним, что на протяжении более чем двух с половиной тысячелетий слово “история” обладало тремя основными значениями: вид реальности (совокупность событий, процесс бытия); вид текста (в широком значении – дискурс, связный набор высказываний, нарратив) и, наконец, вид знания. Эти значения сформировались еще в античности и, меняя смыслы в разные эпохи, сохранились до наших дней. Различение трех значений наглядно проявляется в рамках системы человеческих действий – можно “писать историю” (текст), “заниматься историей” (знанием), “творить историю” (реальность). Есть и другие варианты: можно сравнить, например, различие между выражениями “писать историю” (текст) и “описывать историю” (реальность). А, скажем, выражение “изучать историю” в равной мере может относиться и к истории-знанию, и к истории-реальности. Рассмотрим кратко сформировавшиеся в обществе к концу прошлого века представления о будущем и задачах истории в разных ее значениях: бытия, текста и знания (см. также [Confino, 2000]).

“Конец истории” в значении бытия. Во второй половине прошлого века возникла специфическая трактовка истории в значении бытия. Основой для формирования новых представлений о прошлом и настоящем в послевоенный период послужили бесчисленные работы первой половины XX в., в разных вариациях ставившие проблему “кризиса”. После Второй мировой войны прежде всего получает развитие представление о конце капитализма, восходящее к работам К. Маркса, В. Зомбарта и М. Вебера и многократно усиленное событиями 1930–1940-х гг. Типичными становятся работы, провозглашающие окончание некой предыдущей “истории” – Нового времени, или “модерности” (ср., например, такие труды, как “Прощание с прежней историей” А. Вебера, 1945 и “Конец Нового времени” Р. Гвардини, 1950). Правда, “конец истории”, как и “конец света” в Средние века, никак не наступал и постоянно отодвигался (вспомним “Конец истории?” А. Гелена, (1960), “Конец истории” А. Лефевра (1970), “Конец истории?” Ф. Фукуямы (1989) и т.д.)¹, но в данном случае нас интересует ощущение, а не эмпирическая данность.

Список философских работ о “конце истории” свидетельствует о том, что “финал” сложившегося миропорядка предполагали или констатировали и неомарксисты, и либералы, и консерваторы, и постмодернисты. “Конец истории” здесь означает разрыв исторической преемственности и, по существу, отказ от идеи историзма. В триаде прошлое–настоящее–будущее внимание переносится на настоящее. Как отмечает французский историк Ф. Артог, “мы вступили в эпоху презентизма — апофеоза настоящего... которое оказывается линией горизонта для самого себя. Оно или обходится без будущего и прошлого, или порождает – практически ежедневно – прошлое и будущее, необходимые для его насущных потребностей” [Артог, 2002, с. 151, 153].

В обществе также стало усиливаться ощущение “ускорения времени”, точнее – возрастания темпа происходящих в обществе изменений. Настоящее все быстрее становится прошлым в смысле “другим” – недавнее прошлое воспринимается столь же отличным от настоящего, как прошлое вековой давности. Возникает явление, которое немецкий философ Г. Люббе назвал *прецепцией* (Präzeption) по аналогии с обычным термином *рецепция*: “Этим понятием обозначается зависимость будущей рецепции прошлого, которым некогда станет наше настоящее, от вида и способа, каким настоящее передается будущему... Настоящее, знающее, подобно нашему, что оно в качестве будущего прошлого станет в будущем объектом исторического сознания, прецептивно организует также и самопередачу будущему, ориентируясь на предположительную рецепцию прошлого в будущем” [Люббе, 1994, с. 103].

В результате общество оказывается заинтересовано в “запечатлении” настоящего, которое быстро превращается в прошлое. Историки наделяются своеобразной соци-

¹ О концепциях “конца истории” см. [Niethammer, Van Laak, 1989; Anderson, 1992].

альной миссией и ответственностью за отбор, сортировку и “упаковку” подлежащего сохранению/запоминанию материала. Кроме того, в условиях демократизации общества претензии на увековечение начинают предъявлять самые разные социальные группы.

“Конец истории” в значении текста. Вызов истории в значении текста возник в связи с экспансией постмодернистов, прежде всего филологов (новый историзм) и философов (новая философия истории). При этом постмодернисты покушались как на исторические тексты, так и на исторический метод. С одной стороны, от историков требовали радикальной смены объекта, предлагая вместо реальности изучать тексты [Оrr, 1986]. С другой стороны, историкам фактически было предложено использовать методы постмодернистского литературного анализа.

Что касается исторических текстов, то попытки их филологического анализа никак не нарушали автономии исторической науки. В конце концов, филологи всегда занимались изучением исторических текстов, в том числе и трудов литературно одаренных историков. Объектами как традиционных, так и постмодернистских литературоведческих исследований выступают, в частности, сочинения известных авторов XIX в. – О. Тьерри, Ж. Мишле, Т. Карлейля, А. де Токвиля, Л. фон Ранке, и Т. Маколей [Реизов, 1956; Уайт, 2002; Gay, 1974; Orr, 1976; Shiner, 1988; Kellner, 1989; Rigney, 1990].

Другое дело – попытки дезавуировать исторический метод, прежде всего историческую *критику* текстов, которые непосредственно вытекали из постмодернистской трактовки исторической реальности. В последние десятилетия XX в. “история” в значении реальности стала наполняться еще одним смыслом, возрождающим античные традиции, а именно, трактоваться как реальность, изображенная в “истории-тексте”. Но если в античности подразумевалось, что исторические тексты *отображают* реальность, то в соответствии с новейшими представлениями исторические тексты *создают* “образ реальности” или “эффект реальности”. Особую популярность такая трактовка смысла “истории-реальности” получила в рамках постмодернистской (постструктуралистской) философии исторического знания и некоторых других течений (“новая философия истории”, отчасти – “новая интеллектуальная история” и др.)². Это, в свою очередь, стимулировало дискуссии о реальности и вымысле, или о реальностях, создаваемых в художественной литературе и в исторических текстах. Крайняя точка зрения здесь сводилась к тому, что в этом плане между историей и художественной литературой различия вообще отсутствуют.

Здесь следует обратить внимание на одну особенность подхода, развиваемого постмодернистами. Дело в том, что они ограничились рассмотрением взаимосвязи “истории-реальности” с “историей-текстом”. При этом за рамками обсуждения осталась связь “истории-реальности” с “историей-знанием”. Действительно, статус реальности, создаваемой в рамках одного изолированно рассматриваемого текста, по сути ничем не отличается от статуса реальности, создаваемой в рамках другого текста. В этом смысле все тексты равноправны и отличаются только стилистическими (синтаксическими) характеристиками. Однако если “художественные” тексты можно, хотя бы с большой натяжкой, рассматривать как “вещь в себе”, то любой исторический текст составляет *часть* исторического знания (в противном случае он просто не является историческим текстом в современном определении), что коренным образом меняет ситуацию.

“Конец истории” в значении знания. Еще более серьезными оказались вызовы, брошенные истории в значении знания. Заметим, что “подрывная работа” против истории как бытия и истории как текста велась преимущественно философами и филологами, то есть “социально близкими”. А вот претензии к содержанию исторического знания предъявили разные группы, представляющие гражданское общество, массо-

² См., например, обсуждение этой темы в альманахе “Одиссей” за 1996 г. (статьи Г. Зверевой, Л. Репиной, В. Визгина, И. Ионова и А. Гуревича), а также [Зверева, 1999; 2001; Стрелков, 2000] и др.

вую культуру и власть. И они вовсе не подразумевали *конца истории*, а наоборот, исходили из востребованности знаний о прошлом, но при этом действительно могли нанести заметный ущерб исторической науке.

В последние десятилетия прошлого века мы стали свидетелями бурного развития **медийной культуры в целом и исторической – в частности** с соответствующими изменениями в массовых представлениях о прошлом. Термином “*медийное историческое знание*” мы обозначаем большой набор разнообразных источников информации о прошлом, таких как религиозные ритуалы и проповеди, праздники и коммеморации, памятники, мемориалы и музеи, художественная и научно-популярная литература, средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), различные формы визуального и перформативного искусства (живопись, театр, кинематограф).

Конечно, медийное, то есть создаваемое вне профессиональной среды, историческое знание существовало и в другие эпохи, и на более ранних этапах современного общества. Исторические романы и драмы – лучший тому пример. До появления научного исторического знания (строго говоря, до появления позитивистской историографии) и профессиональные историки писали с ориентацией на “широкого” образованного читателя. Напомним, что XIX в. еще не стал “веком масс”, но зато он был “веком публики”, временем, когда общественное мнение могло оказывать существенное воздействие на политический процесс, равно как и на многие другие области. Историки с конца XVIII в. использовали язык, ориентированный на имеющие успех литературные жанры, вплоть до мелодрамы. Поэтому особенным влиянием пользовались те из них, кто отличались литературным талантом.

Напротив, становление позитивистской парадигмы в историографии привело к утверждению строгой научной формы. В результате производство популярной истории практически полностью перешло в руки “посредников” (литераторов, художников, а затем и кинематографистов), использующих исторические сюжеты, создавая свои “образы прошлого”.

В последние десятилетия в результате бурного развития массмедиа производство “книг по истории” поставлено на поток; создается огромное количество исторических фильмов и сериалов, в том числе документальных, в связи с чем появились такие выразительные термины, как *faction* и *docudrama*; телевидение предлагает специальные исторические программы и специализированные исторические каналы.

Нашествие медийной истории имеет разные последствия для формирования массовых представлений о прошлом и отношений историков с обществом. Безусловно, интерес к прошлому повышается, о чем свидетельствуют, в частности, социологические данные о чтении исторических книг. При этом увеличение доли медийного компонента в массовом историческом сознании, конечно, изменяет его содержание и конфигурацию. Можно предположить, что научные знания, хотя бы полученные в школе, занимают в нем все меньшее место.

В то же время интерес к истории, спровоцированный ростом массмедиа, и усвоение медийных версий прошлого в определенной мере приводят к дискредитации научного исторического знания. Связь здесь довольно сложная. С одной стороны, обычный человек чаще всего ждет от профессиональных историков “правды”, то есть одной согласованной версии истории, а от литераторов – выдумки, развлечения. Разместить между этими “понятными” ему полюсами, популярную, “как бы научную”, историческую продукцию ему крайне трудно и, видимо, поэтому он относится к ней скорее как к достоверной, тем более, что такие версии обладают соответствующими признаками (документальными материалами, свидетельствами очевидцев, причинно-следственной манерой аргументации). Но при обилии подобных произведений у потребителя возникает проблема совмещения множественных интерпретаций. И это непонимание сути жанра относится не только к медийным произведениям, но и к профессиональным историческим работам, особенно, если они касаются актуальных для общества событий прошлого.

Определенный ущерб исторической профессии нанесло и развитие *cultural studies*. В их бурном развитии очень важны были социальные обстоятельства: утверждение в обществе новых социальных групп и феномена политкорректности, становление массовой культуры и культурная агрессия постмодернизма. В итоге на академическом уровне произошли радикальные изменения в учебных планах за счет исторических дисциплин, а также сокращение числа студентов-историков. Так, в США в 1970 г. было 45 тыс. выпускников по специальности “история”, 20 лет спустя – всего 20 тыс. [Windschuttle, 1996, p. 315].

Популярность *cultural studies* привела к тому, что в настоящее время преподавание истории в университетах все дальше отрывается от модели классического исторического образования. Об этом свидетельствуют, например, результаты исследований, проведенных в начале нынешнего века весьма влиятельной в США организацией – Американским советом попечителей и выпускников (American Council of Trustees and Alumni – АСТА). Как показал проведенный АСТА анализ учебных программ, в последние годы в списках обязательных тем курсы по истории часто объединяются в одну группу с различными неисторическими курсами под рубриками “американская культура”, “мировая культура”, “текстовые и исторические исследования” и иными “культурологическими” предметами. Обычно студенты должны сдать в обязательном порядке лишь один из курсов, входящих в ту или иную тематическую группу.

Например, в Калифорнийском университете в Беркли в набор курсов по американской культуре был включен курс “Альтернативные сексуальные идентичности и сообщества”. В Дартмутском университете курсы “Музыка Юго-Восточной Азии” и “От руки до рта: письмо, еда и конструирование гендера” относились к рубрике “мировая культура”. В университете Вашингтона в Сен-Луисе темы “Раса и этничность на американском телевидении” и “Американский феминизм и театр” классифицировались как курсы по текстологическим и историческим исследованиям. В целом, по данным АСТА, в 2002 г. *только 10* из 50 ведущих национальных университетов и гуманитарных колледжей (по рейтингу журнала U.S. News & World Report 2002 г.) включали в число обязательных хотя бы какие-то курсы по истории (по сравнению с 22 университетам – всего за два года до того) [Restoring... 2002], (ср. [Losing... 2000]).

В последние десятилетия прошлого века происходила самоидентификация **новых социальных групп** (этнических, гендерных, жертв трагических событий, потомков жертв), породившая новые идеологические конструкты: гендеризм, мультикультурализм и проч. Собственно, речь идет даже не об идентификации: у членов большинства новых групп идентификация была и раньше. Ведь женщины и прежде знали, что они женщины, лесбиянки – что они лесбиянки, пострадавшие от религиозных или этнических “чисток” – что они жертвы, но в последние десятилетия у разных групп возникла потребность в *легитимации*. Именно эта функция истории была востребована при обращении к прошлому. Задача для той или иной группы состояла не только в том, чтобы написать собственную историю, отличную от “истории верхов”, “истории мужчин”, “истории белых”. То или иное партикулярное прошлое требовало пересмотра истории “города и мира”. Историки получили социальный заказ.

Вместо давно привычных “пролетариев всех стран” достойными изучения были признаны “социальные маргиналы всех стран”: женщины и гомосексуалисты, прокаженные и безумные, иноверцы и иммигранты. Определения “потерянные”, “забытые” применительно к социальным группам, слоям, народам и целым континентам замеслялись в заглавиях программных исследований. Американский философ Дж. Сёрл ехидно заметил: “...если бы существовала всеобщая враждебность (или если бы многие думали, что существует враждебность и дискриминация), направленная против голубоглазых или левшей, то – я совершенно в этом уверен – сегодня в американских университетах от нас бы требовали организовать кафедры по изучению голубоглазых и левшей и прикладывались бы огромные усилия, чтобы показать огромный вклад в культуру, сделанный голубоглазыми или левшами” [Сёрл, 2002, с. 84–85].

Особый случай представляют собой социальные группы, формирующиеся исключительно на основе прошлого: речь идет о непосредственных участниках тех или иных исторических событий. Потенциально группы такого рода существовали всегда, но их институционализация – относительно новое явление. Процесс формирования социальных групп по принципу участия в каком-либо событии совпал с переворотом, связанным с появлением новых электронных средств фиксации, хранения и воспроизведения информации.

Раньше люди, пережившие эпидемию чумы, или участники одного из Крестовых походов впоследствии не образовывали никакой социальной группы и не имели возможности запечатлеть свои общие воспоминания. В лучшем случае оставались письменные мемуары одного–двух участников событий, владевших грамотой. Теперь же фиксация, хранение и воспроизведение большого числа индивидуальных воспоминаний участников или свидетелей какого-либо события стали обычной практикой.

Существует мнение, что борьба отдельных социальных групп за собственное место в истории активизировалась в связи с укоренением постмодернистского тезиса о власти историографических дискурсов, которые утверждают “нужные” представления в качестве официальной истории общества. Действительно, в ряде постмодернистских сочинений представителей французской семиотической школы (Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида и др.) тезис о навязывании обществу “буржуазной картины мира” путем создания соответствующей текстовой реальности обосновывался в том числе и отсылками к историческим сочинениям. По их мнению, этническое, гендерное или социальное угнетение нередко распространяется и на область самого исторического знания, в котором, соответственно, оказывается принижена и искажена роль низов, женщин, этнических меньшинств и т.д.

Тезис о необходимости включения в образ прошлого истории новых социальных групп содержал в себе и другой вызов историкам. Речь идет о призывах к стиранию граней между профессиональным и массовым историческим знанием, о попытках “уравнять в правах” на конструирование прошлого профессиональных историков, дилетантов, и даже – широкие массы (трудящихся). В последние годы начали звучать левацкие лозунги о необходимости “демократизации” или, точнее, “обобществления” процессов производства исторического знания (см., например, [Crane, 1997]).

Еще одной сферой общественных интересов, связанных с прошлым, стало производство “**исторической памяти**”. Одной из главных причин появления данного концепта и наполнения его тем или иным содержанием стало повышенное и во многом оправданное внимание к *воспоминаниям* жертв величайших трагедий XX в. – Холокоста, сталинских репрессий, других этнических и политических геноцидов, равно как и участников Второй мировой войны и разнообразных революций. Однако затем и термин “память”, и связанные с ним политические инициативы стали быстро распространяться на самые разные аспекты социальных представлений о прошлом.

“Историческая память” – новый конструкт в *идеологическом* арсенале современного общества. Об идеологизированном характере концепта “историческая память” свидетельствует тот факт, что во многих случаях он используется в связке с понятием “политика” – “политика памяти”. Само слово “политика” указывает на то, что речь идет либо об изучении способов идеологизации прошлого, либо о самом процессе идеологизации знания о прошлом. Не случайно во многих сочинениях о “политике памяти” мы обнаруживаем манифесты очередных “движений”, на этот раз “движений за память” (жертв Холокоста, депортаций, ГУЛАГа), что уж точно выводит соответствующие тексты за пределы научно-исторического дискурса. При таком подходе в репрезентации этих сюжетов неизбежны (и во многом оправданы) моральные оценки, такие собирательные и понятные сегодня каждому интеллектуалу метафоры, как “травма”, “вина” и т.д.

На протяжении последних десятилетий возникла целая “индустрия памяти” [Klein, 2000, p. 127], в которой активно трудятся энтузиасты от политики, журналистики,

искусства, музееведения. Естественно, ангажированные представители разных групп оживляли активного участия историков в работе по созданию “памяти”.

На наш взгляд, попытки привлечения историков к созданию “исторической памяти” и разработке сценариев “политики памяти” в современном обществе, по существу, отражают модификацию представлений о функциях истории. С XIX в. история в существенной мере обеспечивает социально-групповую идентификацию – национальную, партийную и т.д. Но эта функция реализовывалась в основном на уровне групповых элит. Нарастающее на протяжении всего XX в. внимание к проблеме масс породило убеждение, что функция идентификации, которую издавна выполняла история, теперь должна реализовываться на уровне массовых представлений о прошлом. Этот дискурс подразумевает, что профессиональное историческое сообщество должно трудиться над производством не просто научного знания, но и массового “знания о прошлом” – “исторической памяти”.

Совершенно неожиданно в 1990-е гг. вновь возникла общественная потребность в формировании **“национальных образов прошлого”**. На этот раз спрос на историю предъявили ставшие независимыми бывшие социалистические государства и советские республики, включая Россию. Активное обращение к прошлому, как к одному из ключевых параметров национальной идентификации, в определенной мере диссонировало с послевоенным развитием исторической науки вообще и политической истории в частности.

Дело в том, что для развитых стран Запада процесс формирования национальных историй в целом завершился. Он происходил с начала XIX в., и на протяжении столетия с небольшим, благодаря усилиям историков и при поддержке государства, сложился принципиально новый тип историографии – национально-государственной, которая связывает и объединяет два базовых типа групповой идентичности – этнокультурный и территориально-политический. Конечно, опыт и итоги Второй мировой войны потребовали серьезного переосмысления прошлого от стран бывшего фашистского блока, особенно Германии. Тем не менее в целом в экономически развитых странах политическая история во второй половине XX в. оказалась не очень востребованной.

Начиная с 1960-х гг. возникает спрос на национальную историографию в развивающихся странах, в том числе в бывших колониях. Во многих случаях существовал прямой государственный заказ на создание исторических сочинений, имевших ярко выраженный националистический и антизападный характер. В последние десятилетия к этому добавилось политическое давление со стороны различных борцов с колониальным наследием в самих западных странах, где к историкам, занимающимся историей “третьего мира”, нередко предъявляются требования соблюдения политкорректности и демонстрации “язв империализма”³.

Что касается историков тех европейских стран, которые после войны оказались в пределах соцлагеря, то их дважды мобилизовывали на создание нового образа прошлого. Сначала от них потребовали создания марксистского варианта национальной истории, основанной на идее классовой борьбы. А в 1990-е гг. к профессиональным историкам обратились в поисках образов национального прошлого, призванных легитимизировать притязания тех или иных этносов на государство и территорию (свою или чужую), на политическое доминирование и обладание культурным капиталом. От них ждали новых интерпретаций и новых учебников.

В современном обществе практически каждый человек получает огромное количество конкретной информации о прошлом в процессе школьного образования, и содержание **“уроков истории”** привлекает повышенное внимание интеллектуалов, представителей образовательного сообщества и политических деятелей. Сегодня обсуждение этой темы во многих случаях носит алармистский и даже несколько истерический характер: в основном говорится и пишется о том, что школьники плохо

³ Яркий пример такого политического давления на историков во Франции рассмотрен в [Rémond, 2006].

или недостаточно знают историю, знают ее хуже, чем раньше, не знают о ключевых событиях и т.д.

Это уже вторая волна озабоченности общественности качеством исторических знаний за последние сто лет – первая возникла в начале XX в., когда в странах Европы и США ценой больших и продуманных усилий была создана система массового исторического образования. Тогда задача состояла в формировании национальной идентификации на базе общего для нации прошлого. Инструкции надзирающих за школой органов были вполне откровенными: учителям предписывалось, какие периоды пропускать, какие освещать бегло, а на каких событиях и личностях концентрировать внимание школьников. Формирующимся национальным государствам нужен был гражданин, ощущающий себя частью исторического, аксиологического и географического пространства своей страны. Именно эта задача и по сей день ставится в качестве приоритетной перед общеобразовательной школой.

В совокупности в последние десятилетия названные выше процессы развития гражданского общества сформировали представление, что курсы истории, стандарты по истории, учебники истории более не являются областью исключительной ответственности сообщества историков и педагогов. Сейчас эта проблема находится в сфере интересов и активности самых разнообразных групп, и достижение сколь угодно согласованной позиции практически невозможно. Но реагировать приходится на всё, и вопрос о том, какой истории следует учить и как это делать в новой ситуации, подразумевает ответы, лежащие в самых разных плоскостях.

Очень условно их можно объединить в широких рамках модификации проекта идентичности. При этом важно различать, как минимум, два типа современных обществ – “устойчивые” и “транзитные”. Перед первыми стоит задача *приспособления* достаточно укорененной в массовом сознании национальной версии истории к новым социально-культурным реалиям и формирования более гибкой идентичности, включающей представления различных меньшинств. “Транзитные” общества – те, которые находятся в *поиске* собственного прошлого, обеспечивающего новую идентичность. К последним относятся все постсоциалистические страны. При этом они не могут механически ориентироваться на исторический опыт национального строительства развитых капиталистических стран, ибо одновременно сталкиваются со всеми вызовами, характерными для современного мира.

Изучение в школе истории как научной дисциплины в этих условиях оказывается по-прежнему на втором плане. А главное, оно остается заведомо не очень эффективным, так как научной картине прошлой социальной реальности противостоят идеологизированные версии “согласованной истории”.

Исторические ответы

Наблюдаемое в последние десятилетия бурное развитие исторической науки во всем мире, сопровождавшееся интенсивным расширением тематики исследований, формированием новых научных направлений, школ, журналов, было обусловлено целым рядом причин. Важнейшую роль сыграло расширение взаимодействия истории с другими социальными и гуманитарными науками, которое способствовало возникновению как новых объектов, так и методов исторического исследования. Определенное значение имело и совершенствование техники изучения прошлого, вовлечение в научный оборот новых источников, выработка принципиально новых подходов к анализу источников традиционных, а также появление новых возможностей обработки информации. Но помимо этих факторов, обусловленных внутренними процессами в самой исторической науке, определенную стимулирующую роль в развитии истории сыграли и внешние вызовы, подталкивавшие историков к поискам адекватных ответов.

“Конец истории” и время историка. Историки не очень реагировали на причитания по поводу “конца истории”, но все-таки они не прошли мимо их слуха. На исходе прошлого века возникает новая тенденция в трактовке исторической темпоральности,

времени историка, соотношения прошлого, настоящего и будущего. Главным ответом стали размышления об “историзации настоящего”, взгляд на культурную традицию модерна как на что-то завершившееся или завершающееся на наших глазах. “Историзация настоящего” как бы компенсирует быструю утрату значимости того или иного явления, происходящую в настоящем. Существовало, что новый подход не ограничивается полем теоретических исследований: скорее он подводит теоретическую базу под новые направления в историографической практике.

Первым таким направлением можно считать изучение историками совсем недавнего прошлого, получившее распространение, в частности, во Франции, где появилась особая специализация – “история настоящего времени” (*histoire des temps présents*) [Уваров, 2004]. Это направление сформировалось вокруг парижской Школы политических наук и в последние годы стало заметным явлением во французской историографии (см., например, [Écrire...1993]).

Одновременно во многих странах активизируется изучение истории (то есть действительно прошлого), всего “уходящего”. Как заметил английский историк Р. Сэмюэл, “рабочая история процветает, когда рабочий класс перестал играть активную политическую роль, история семьи процветает, когда распадаются семейные связи” [Samuel, 1989, p. 11].

Часть историков откликнулась и на призыв “запечатлеть настоящее для будущего”. Если раньше историк спешил в архивы, чтобы “говорить с мертвыми”, то теперь он спешит отнести туда “свидетельства живых”. Прежде всего речь идет о различного рода мемуарах и воспоминаниях, активно используемых ныне при изучении индивидуальных и семейных представлений о прошлом, особенно в рамках истории повседневности. В последние десятилетия прошлого века в дополнение к стихийному процессу производства мемуаров “снизу” возникла практика целенаправленного сбора индивидуальных воспоминаний профессиональными исследователями. Появилось, в частности, такое направление историографии, как “устная история” новейшего времени, отчасти смыкающееся с социологией и обеспеченное новыми способами обработки информации (звукозапись, перевод в машиночитаемую, а затем и электронную форму [Томпсон, 2003]).

Наконец, распространившийся в общественном сознании тезис о “конце истории” (Нового времени, модерности) отчасти спровоцировал уменьшение популярности среди историков “больших нарративов” и макромоделей, уход в микроисторию, историю повседневности, возрождение интереса к обычному человеку и отдельному самоценному событию. Эта смена установок объяснялась не только интересом к альтернативным научным методам, но и идейным “разочарованием” в идолах уходящей эпохи (модернизации, технологическом и социальном прогрессе).

После битвы с постмодернизмом. Историки благополучно пережили постмодернистское наступление и вышли из этой ситуации с минимальными потерями. Это была “странная война”. Шли годы, а исторических работ, выдержанных в постмодернистском духе, не появлялось. Всё ограничилось дискуссиями о характере исторического знания, которые, впрочем, оказались необыкновенно плодотворными для самих историков. Никогда так активно, как в последние 30 лет, не обсуждались проблемы исторического метода. Так сложилось, что историки, ставшие основоположниками разных исторических субдисциплин, воспринимали себя и в качестве “хранителей” основ исторической науки. П. Бёрк, П. Вейн, К. Гинзбург, Р. Дарнтон, Н. (Земон) Дэвис, Ж. Ле Гофф, Ю. Кокка, Ж. Ревель, Л. Стоун, Ч. Тилли, Р. Фогель, Ф. Фюре, Э. Хобсбоум и др. в годы, когда историография оказалась перед лицом “постмодернистской угрозы”, выступили с работами, в которых вновь пытались объяснить специфику предмета исторической науки, особенности исторического сознания и познания, а также четко обозначить нормы и конвенции, которыми руководствуются профессиональные историки. Эти сочинения, продиктованные во многом пониманием профессионального долга, немало способствовали развитию рефлексий по поводу исторического знания и, безусловно, укрепили авторитет и влияние историков-теоретиков в нашей науке.

Не столь важно, что за пределами профессиональной исторической среды эти объяснения оказались плохо услышаны из-за необычайной голосистости постмодернистов, сторонников “лингвистического поворота” и противников “буржуазной идеологии”. Важно, что сами историки очень выиграли от этой рефлексии. Правда, значительная их часть вообще игнорировала постмодернистские дискуссии, продолжая считать, как и два тысячелетия назад, что историческая реальность просто *отражается* в их текстах.

В конечном итоге, тревога, связанная с постмодернистами, оказалась ложной. Вся дискуссия проходила исключительно в статьях о методологии, сама же методология развивалась в направлениях, ничего общего с постмодернизмом не имеющих (в частности, в форме “историографических поворотов”) [Савельева, Полетаев, 2005]. Единственным заметным исключением можно считать новый историзм, но это – направление литературоведческое и литературоведами созданное (подробнее см. [Зарецкий, 2005]).

Развитие исторического знания. Вызовы, брошенные истории в значении знания, весьма заметно повлияли на облик исторической науки последних десятилетий. Реакцией на них стали и новые приоритеты в выборе предмета исследований, и методологические новации, и новые конфигурации в отношениях истории и идеологии.

По отношению к **процессу “омассовления истории” в исторической дисциплине** сформировались разные стратегии. Первая, более очевидная, состояла в активизации деятельности профессиональных историков “на ниве народного просвещения”. Многие специалисты стали чаще участвовать в производстве медийных знаний, особенно телевизионных. Известных историков нередко можно увидеть в качестве консультантов и комментаторов серьезных исторических передач на западном телевидении, в первую очередь в программах английской BBC, американской PBS, спутникового канала Discovery – Civilization.

Новые веяния проявились и в исторических сочинениях. В историческом сообществе с конца 1970-х гг. возрождается стремление писать литературно и сделать свои “главные” научные труды достоянием не только профессионалов, но и просто образованной читательской аудитории. Диверсификация предметного поля исторических исследований, тенденция к пересмотру эпистемологических принципов исторического знания сильно способствовали успехам в борьбе за внимание широкой читательской аудитории. Появилась новая волна исторических бестселлеров, созданных историками, способными писать “историю как роман”. Среди них – Э. Ле Руа Ладюри, К. Гинзбург, Р. Дарнтон, Н. (Земон) Дэвис, Р. Шартье и др.⁴ Эти авторы славятся своей сознательно беллетристической манерой, могут свободно ставить себя на место своих героев, делать отступления, вставки, вплоть до написания вымышленных диалогов исторических героев с автором исследования (см., например, [(Земон) Дэвис, 1999, с. 7–10]). Надо сказать, что на долю такой исторической литературы выпал бесспорный издательский успех.

Задачи историков в связи с наметившейся тенденцией к литературизации состояли в том, чтобы выработать четкое представление о профессиональных нормах, препятствовать их разрыванию и соблюдать конвенции, существующие в научном сообществе. Именно соответствие того или иного произведения о прошлом общепринятым правилам научного исследования позволяет определить его как научное.

Вторая стратегия, сформировавшаяся в научном сообществе, связана с пониманием различия в формах знания. Она предполагает отчужденное отношение к воздействию медийного исторического знания на массовые представления. В этом случае в качестве реакции на наступление массовой культуры историки выработали своего рода “асимметричный ответ”. Вместо того, чтобы противостоять медийному знанию, они сделали его объектом изучения в рамках анализа массовых представлений о про-

⁴ Многие из этих работ в последние годы были изданы в России [Ле Руа Ладюри, 2001; Гинзбург, 2000; Дарнтон, 2002; (Земон) Дэвис, 1990; Шартье, 2001].

шлом. В результате распространение медийной исторической культуры и ее успех у потребителя, наряду с угрозой для профессиональной истории, оказались и мощным познавательным стимулом, способствуя обращению историков к проблеме массового исторического сознания, изучению содержания и механизмов формирования представлений о прошлом в современном обществе (см., например, [Феномен... 2005; Савельева, Полетаев, 2009]).

Свои проблемы связаны с **“Культурной историей” и исторической антропологией**. *Cultural studies*, как и многие другие внешние вызовы, произвели в исторической науке и негативные, и позитивные перемены. С одной стороны, появление многочисленных кафедр, курсов, журналов и грантов по культурным исследованиям не очень радовало традиционных историков, но и сопротивляться новациям в структуре гуманитарного знания было нелегко. Тем не менее книга А. Блума “Конец американского разума” (1987), призывавшая историков вернуться к настоящим книгам и важным проблемам, неожиданно стала бестселлером. За ней последовали другие работы о засилье *cultural studies* и беспомощности университетских академических историков перед политкорректностью⁵. А. Шлезингер писал, что “культ этничности” является атакой на “общую американскую идентичность”, попыткой “повернуть поколение колледжей против европейской и западной традиции”, разновидностью “культурного и лингвистического апартеида”. Он призвал “молчаливое большинство” американских профессоров не молчать, а бросить вызов “модной глупости” (цит. по [Levin, 1993, p. 852]).

С другой стороны, академическая мода “на культуру в широком смысле” стимулировала развитие исторической антропологии. Благодаря этому в поле зрения историков попали те же темы, которыми занимается современная антропология, то, что сами антропологи называют “культурой” в широком значении: образцы смыслов, проявляющихся в ритуалах и символах и определяющих индивидуальное и коллективное поведение. Историческая антропология, выдвигающая на первый план проблемы механизма развития культуры, поставила вопросы о том, каким образом культура передается во времени (от поколения к поколению), как осуществляется процесс взаимодействия культур, каково содержание этого взаимодействия и куда направлен его вектор.

Институционализация новых социальных групп повлияла не только на содержание, но и на организацию исторической науки последних десятилетий, способствовала появлению **новых тем социальной истории**. Настойчивые апелляции представителей разных групп к обществу привели к созданию кафедр по истории сексуальных и маргинальных групп, введению развернутых программ грантовой поддержки и другим институциональным практикам, сделавшим подобную специализацию весьма привлекательной.

В исследовании, основанном на изучении курсов по истории с 1910 по 1990 г. в США (6000 курсов в 24 американских государственных университетах – *land-grant universities*), американские ученые показали, что еще в 1950-е гг. курсов по истории или культуре субгрупп практически не было, по женской истории курсов не читали даже в 1970 г. В 1970 г. ни один факультет не имел курсов по истории сексуальных групп, а в 1990 г. такие курсы читались уже во всех обследованных авторами университетах [Frank, Schofer, Torres, 1994, p. 236, 237].

Таким образом, история, развивавшаяся на протяжении последних веков от истории замечательных людей к истории народа, сегодня приобрела еще один вектор: от истории народа (белых мужчин) – к истории разных групп. И если традиционные идеологизированные истории низов (трудящихся) ныне не в моде, хотя и по-прежнему создаются, то “нетрадиционные” истории, связанные с легитимацией новых социальных групп, поддерживаются академическим сообществом, проявляющим политкорректность по отношению к очередным “угнетенным”.

⁵ Библиографию см. [Levin, 1993, p. 852, fn. 5].

Забавные метаморфозы происходили в этой связи с подзаголовком английского журнала *History Workshop*, одна из задач которого – привлечение широкой, и не только профессиональной, читательской аудитории. Основанный в 1976 г., он вначале имел подзаголовок “журнал историков-социалистов”. В 1981 г., в связи с появлением более восприимчивого сегмента аудитории, подзаголовок изменили на “журнал историков-социалистов и феминистов” (феминисток? – *И.С., А.П.*). В 1995 г. подзаголовок тихо был ликвидирован. В передовой статье “Изменения и преемственность” редакторы журнала писали: «Политические условия, в которых мы работаем, изменились почти до неузнаваемости за прошедшие 14 лет (с 1981 г.), когда мы последний раз дополнили нашу информацию на первой странице, включив “историков-феминистов” (феминисток)» (цит. по [Iggers... 1997, p. 89–93]).

В весьма политизированной истории субгрупп, особенно на этапе их становления, особенно важен элемент героизации главного коллективного персонажа, рассказ об его угнетении и борьбе, определение вклада в историческое развитие. При этом исследование строится по известной модели: в прошлом идентифицируются в качестве предшествующих те аспекты, которые присутствуют в настоящем. Ход событий реконструируется таким образом, что с неизбежностью приводит в настоящее.

Частным, но очень влиятельным вариантом ответа историков на запросы социальных групп, этносов и наций, стало изучение “**исторической памяти**”. Возникнув в конце 1970-х гг., этот конструкт продемонстрировал необыкновенную способность к экспансии. По мнению критика данного направления историка К. Клейна, эта экспансия проявляется в двух формах. С одной стороны, «там, где мы раньше говорили о народной истории, популярной истории, устной истории, публичной истории и даже о мифе, теперь мы используем “память” в качестве метаисторической категории, которая включает все эти понятия». С другой стороны, “потенциально бесконечным становится список относимых к памяти объектов... Любые культурные практики или артефакты, которые Гегель исключил бы из Истории, могут квалифицироваться как Память” [Klein, 2000, p. 128, 135–136].

Эмпирические исследования “исторической памяти” выглядят гораздо более согласованными в своих подходах. По существу термин начал использоваться при анализе *групповых (социальных) представлений о прошлом* в противоположность индивидуальным представлениям/знаниям. При этом чаще под “исторической памятью” подразумеваются *непрофессиональные* (“обыденные”, “массовые”) представления о прошлом в противоположность профессиональным знаниям/концепциям/представлениям.

Наверное, самый массовый срез составляют работы, анализирующие память о “травмах” XX в. – войнах, Холокосте, ГУЛАГе. В то же время появляется все больше исследований, сосредоточенных на изучении массовых обыденных представлений о прошлом (“коллективной памяти”) в разных исторических сообществах: о “культурной памяти” Древности, о знаниях о прошлом простых людей Средневековья и т.д. [Ассман, 2004; Историия... 2006].

Интерес историков к теме “исторической памяти” реализуется не только в попытках определить *содержание* социальных представлений о прошлом, но и в стремлении выявить *механизм* их формирования. Наиболее доступной для анализа оказалась политическая (точнее, властная) составляющая этого механизма. Именно поэтому “политика памяти” выглядит самой разработанной в исторических работах, ориентированных на проблематику “исторической памяти”.

Изучение “политики памяти”, помимо бесконечных возможностей для анализа конкретных сюжетов, создает предпосылки для ответа на более общий теоретический вопрос: как создаются социальные представления о прошлом и формируются национальные символы? В первую очередь, эта тема связана с изучением роли политического проекта и, соответственно, заказа по формированию и закреплению достаточно конкретных знаний о прошлом, задающих определенные социально-политические цели и ценности. “Историческая память” в контексте “политики памяти” трактуется

прежде всего как функция власти, определяющей, каким образом следует представлять прошлое. Поэтому востребованность такого понятия, как “политика памяти”, отражает и смену интересов в предметной области, в результате которой целый ряд историков переключились с изучения идеологически насыщенных *текстов* на пропагандистские *образы и символы*, с политической истории – на культурную политику.

Национально-государственная историография может выполнять разные прагматические функции. Прежде всего она может ориентироваться на конкретные внутрисполитические цели, например содействовать решению задач национально-государственного объединения. Точно так же национально-государственная историография может обосновывать внешнеполитические притязания, прежде всего территориальные (будь то Эльзас, Македония, Кашмир или Курильские острова). Но все же главные прагматические функции национально-государственной историографии связаны с задачами национальной самоидентификации и самоутверждения, то есть формирования “образа нации”.

В странах Запада уже с 1920-х гг. “националистическая историография” становится объектом критики (см. [Kennedy, 1974]). Формой реакции на доминировавшие национальные истории стало рождение в XX в. историй социальных (в своей первой лекции в Страсбургском университете в 1919 г. Л. Февр специально подчеркнул, что не желает становиться “миссионером национального Евангелия”). После Второй мировой войны происходит радикальная переоценка “исторической роли” национализма, и подавляющее большинство историков переходят на позиции критиков национальной идеи, высказывая по отношению к ней скептицизм и даже враждебность [Смит, 2002, с. 255]. Угасание интереса к традиционной национальной истории было связано с появлением множества других исторических субдисциплин, ориентированных на внедрение методов социальных наук. Наконец, в исторических исследованиях конца XX в. национальные истории сами сделались предметом исторического исследования.

Это общепринятое описание развития национальных историй имело, однако, важные отклонения. Первое объясняется тем, что для массового потребления страновые истории и сегодня очень важны. Об этом свидетельствует, например, огромное количество “Историй Франции”, появившихся в 1980-е гг. Именно в национальной форме история представлена по большей части и в школьных учебниках. А уж на массовом уровне знают практически только национальную историю.

Второе отклонение связано с появлением новых государств и их потребностью в собственных национальных историях (“догоняющая” национализация прошлого). Историки “новых” государств активно участвуют в создании национальных историй, причем это участие может быть очень разным по содержанию: от создания идеологизированной, националистической истории до борьбы с мифотворчеством и крайностями национализма.

Третье, более общее, отклонение вызвано проблемами прошлого, неудобного для идентификации. Один из самых выразительных примеров – “немецкое прошлое”, связанное со злодеяниями нацистов. Ключевыми для историографии были два вопроса: был ли нацизм результатом особого исторического пути (*Sonderweg*) Германии и должен ли немецкий народ отвечать за преступления нацизма. “Нормализация” немецкой историографии, посвященной периоду Третьего рейха, стала возможной только в 1990-е гг., потому что произошли новые события и пришло новое поколение, для которого “актуальным” прошлым, “которое не хочет уходить”, стала проблема разделения и объединения Германии.

В целом в сознании исторического сообщества проблема **школьного исторического образования** выглядит куда более сложной, чем в публичных дискуссиях, и далеко выходит за пределы споров о характере учебных программ или содержании массовых исторических представлений. Если общественность озабочена плохими знаниями прежде всего по национальной истории, то историков волнует формирование у школьников исторического сознания и их ознакомление с основами исторической науки.

Если предлагать школьникам согласованную версию истории, то непонятно, *что* согласовывать: групповое прошлое, национальное прошлое, европейское прошлое, всемирное прошлое? Если формировать у школьников понимание прошлого как реальности, качественно отличной от настоящего (в терминологии историков – “прошлое как Другое”), и дать им серьезные знания об основах исторической дисциплины, то *как* это сделать?

В последние 15 лет пересмотрен целый ряд принципов, на которых более века основывалось преподавание истории в общеобразовательной школе, и в этом процессе самое активное участие приняли не только учителя и специалисты по школьному образованию, но и многие профессиональные историки. Наглядным примером может служить сборник, вышедший под редакцией П. Стирнза, П. Сейкса и С. Уайнбёрга [Knowing... 2000], в котором историки и представители школьного образовательного сообщества наиболее важными для формирования новых подходов в историческом обучении признали следующие процессы и факторы.

Во-первых, это “когнитивная революция” в интерпретации обучения и изучения, поставившая под вопрос “копирующую модель” процесса познания, согласно которой знание полагалось прямым результатом обучения, автоматически следующим из хорошо преподаваемого урока или толково написанного учебника. Когнитивный подход акцентирует неизбежные разрывы между обучающим и обучаемым, возникающие в результате склонности человека формулировать смыслы в ситуациях неполного и неточного знания. Сфокусировав внимание на актах осмысления, психологи привлекли внимание педагогов к мыслительным “образцам”, убеждениям, заблуждениям, стереотипам учащихся, часто неожиданным образом определяющим содержание усвоенного материала.

Во-вторых, новый импульс преподаванию истории придали изменения, происходящие в самой исторической дисциплине. Преподавание истории оказалось затронутым (или не затронутым) радикальными трансформациями исторической науки, и прежде всего новыми представлениями о характере исторического знания. Эти новации, в соответствии с которыми прошлое полагается социальным конструктом, опирались на достижения социологии знания. Отсюда проистекала и дискуссия о “властном” характере исторического дискурса, о том, кто именно решает, каким должен быть транслируемый народу “образ прошлого”.

В-третьих, происходящие в обществе дискуссии по проблемам нации, расы, гендера, культуры, идентичности вызывали бесконечные вопросы, зачем и как преподают историю в школах и университетах. И стандарты по истории, конечно, реагировали на процесс политизации прошлого, не только инкорпорируя сведения об истории различных маргинализированных групп (групповом прошлом), но и используя наработки культурологии, культурной антропологии, гендеристики и т.д.

* * *

Непрофессиональная общественность не различает идеологическое и научное знание о прошлом как разные его формы. Отсюда – попытки представителей разных социальных групп влиять на содержание научного исторического знания, а на самом деле – прежде всего на его идеологическую составляющую.

Историки отвечали на вызовы общества, но их ответы не были симметричными. Чаще всего на первом этапе они реагировали на вызов с гражданских позиций, и пытались либо выполнить социальный заказ, либо отстоять интересы своей корпорации. Однако ремесло заставляло соотносить исследование с научными нормами, и через некоторое время отношение историков к той или иной актуальной проблематике менялось. В итоге многие ответы оказались неожиданными, в частности сильно деидеологизированными по сравнению с ожиданиями общественности. Так, в качестве несимметричного ответа появилась концепция историзации прошлого вместо его идеологизации, а участие историков в разработке программ школьного образования

привело к постановке вопроса о более последовательном введении основ исторической дисциплины в программы школьного образования.

Конечно, каждый раз речь идет об определенных историках, которые “ввязываются” в бой. Есть и другие историки, начинающие играть на общественных потребностях, используя новые возможности. Эти возможности, кстати, не обязательно ограничиваются стремлением к популярности или карьерному росту. Для некоторых они связаны с увлечением новыми идеями, расширением границ профессионального пространства, модой, возможностями увязать свои политические интересы с профессиональными. Если группы “нарушителей конвенции” оказывались достаточно влиятельными, то возникала дискуссия, которая становилась перманентной. Так, например, произошло с “исторической памятью”, у которой есть много сторонников, но постоянно растет и число критиков.

Нам кажется, что в какой-то мере как реакция на вызовы извне происходило динамичное изменение предметного поля современной историографии (конечно, сама диверсификация предмета истории стала возможной благодаря заимствованиям теоретического багажа социальных наук). Историческая антропология, культурная история, “политика памяти”, устная история, женская история и история других социальных групп – тому лишь некоторые наиболее явные примеры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Артог Ф. Время и история: “Как писать историю Франции?” // *Анналы на рубеже веков.* Антология. М., 2002.

Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.

Бойцов М.А. Выживет ли Клио при глобализации? // *Казус: индивидуальное и уникальное в истории.* 2006. М., 2006.

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XV в. М., 2000.

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002.

Зарецкий Ю.П. История европейского индивида: от Мишле и Буркхардта до Фуко и Гринблатта // *Гуманитарные исследования.* Вып. 5. М., 2005.

Зверева Г.И. Понятие “исторический опыт” в “новой философии истории” // *Теоретические проблемы исторических исследований.* Вып. 2. М., 1999.

Зверева Г.И. Понятие “новизны” в новой интеллектуальной истории // *Диалог со временем.* Альманах интеллектуальной истории. Вып. 4. М., 2001.

(Земон) Дэвис Н. Возвращение Мартена Герра. М., 1990.

(Земон) Дэвис Н. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 1999.

История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006.

Ле Руа Ладюри Э. Монтанью, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург, 2001.

Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // *Вопросы философии.* 1994. № 4.

Реизов Б.Г. Французская романтическая историография. Л., 1956.

Савельева И.М., Полетаев А.В. “Там, за поворотом...”: о модусе сосуществования истории с другими социальными и гуманитарными науками // *Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации.* М., 2005.

Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М., 2009.

Сёрл Дж. Политика и гуманитарное образование // *Отечественные записки.* 2002. № 1.

Смит Э.Д. Национализм и историки // *Нации и национализм.* М., 2002.

Стрелков В.И. К онтологии исторического текста: некоторые аспекты философии истории Ф.Р. Анкерсмита // *Одиссей. Человек в истории.* 2000. М., 2000.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.

Уваров П. История, историки и историческая память во Франции // *Отечественные записки.* 2004. № 5.

Феномен прошлого. М., 2005.

Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. М., 2001.

- Anderson P.* The Ends of History // *Anderson P.* A Zone of Engagement. London, 1992.
- Confino M.* Some Random Thoughts on History's Recent Past // *History and Memory*. 2000. Vol. 12. № 2.
- Crane S.A.* Writing the Individual Back into Collective Memory // *American Historical Review*. 1997. Vol. 102. № 5. December.
- Écrire l'histoire du temps présent. En hommage à François Bedarida. Paris, 1993.
- Frank D.G., Schofer E., Torres J.Ch.* Change in the University Curriculum // *Sociology of Education*. 1994. Vol. 67. № 4. October.
- Gay P.* Style in History. New York, 1974.
- Iggers G.G.* Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover (N.H.), 1997.
- Kellner H.* Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked. Madison, 1989.
- Kennedy P.M.* The Decline of the Nationalistic History in the West, 1900–1970 // *Historians in Politics*. London–Beverly Hills (Cal), 1974.
- Klein K.L.* On the Emergence of *Memory* in Historical Discourse // *Representations*. 2000. № 69. Winter.
- Knowing, Teaching and Learning History. New York, 2000.
- Levin L.W.* Clio, Canons and Culture // *The Journal of American History*. 1993. Vol. 80. № 3. December.
- Losing America's Memory: Historical Illiteracy in the 21st Century. Washington (D.C.), 2000.
- Niethammer L., Van Laak D.* Posthistoire: Ist die Geschichte zu Ende? Reinbek, 1989.
- Orr L.* Jules Michelet: Nature, History, and Language. Ithaca, 1976.
- Orr L.* The Revenge of Literature: a History of History // *New Literary History*. 1986. Vol. 18. № 1. Autumn.
- Rémond R.* L'Histoire et la Loi // *Études*. 2006. № 6.
- Restoring America's Legacy: the Challenge of Historical Literacy in the 21st Century. Washington (D.C.), 2002.
- Rigney A.* The Rhetoric of Historical Representation: Three Narrative Histories of the French Revolution. Cambridge, 1990.
- Samuel R.* Continuous National History // *Patriotism: the Making and Unmaking of British National Identity*. London–New York, 1989. Vol. 1.
- Shiner L.* The Secret Mirror: Literary Form and History in Toqueville's "Recollections". Ithaca, 1988.
- Windschuttle K.* The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists are Murdering Our Past. San Francisco, 1996.

© И. Савельева, А. Полетаев, 2009